

Андрей ДМИТРИЕВ:

Пессимизм — это богохульство

«Известия» публикуют беседы с писателями разных поколений, стилистик, взглядов — Георгием Владимовым и Тимуром Кибировым, Юрием Давыдовым и Светланой Алексиевич. Сегодня в гостях у газеты Андрей Дмитриев. Прозаик из поколения «сорокалетних», он был одним из главных претендентов на Букеровскую премию 1996 года; роман «Закрытая книга» (1999) вызвал широкий читательский отклик; издательство «Вагриус» в ближайшее время выпускает однотомник дмитриевской прозы.

— Что для вас означает успех?

— Шумного успеха, когда твое имя теребят, не читая, я не знал и не узнаю: моя проза на это не рассчитана. По слову поэта: «Ни громкой славы, ни гонений от соплеменников не жду». Было нормальное признание, уважение в профессиональной среде. После выхода романа «Закрытая книга» признание стало более широким.

— И что же это: критика, деньги, читатели, премии?

— Конечно, читатели. Когда к тебе подходят незнакомые люди и благодарят или спрашивают: где достать книжку журнала, которая исчезла с прилавков и на которую очередь в библиотеках, какого еще успеха мне надо?

— Кто ваш читатель?

— Надеюсь, не только я сам. Похоже, мой читатель — это не «тусовочный» провинциальный интеллигент, живущий на юру; он продут ветрами истории, приучен в литературном вымысле искать ответы на свое смутение, на свои недоумения. В диалоге с литературой он преодолевает растерянность, страх, одиночество.

— Вас воодушевляет состояние нынешней литературы?

— И говорил, и повторю не раз: да! Конечно, мы ждем шедевров и брызжик, что ожидания не сбываются. Но это скорее наше психологическое состояние. Хотите быть объективными — вспомните 60–70-е годы. Казалось бы: сколько имен, сколько литературных событий... Докажите с полка и перечислите подшивки тогдашних толстых журналов, расшнуруйте папки с самиздатом — и вы обнаружите, что имена и события, по одному-два в год, тонут в жеваном картоне, который выдается за русский

язык... Другое дело, отклик был неизмеримо благодарнее, чем сейчас. Зато теперь — в каждом номере едва ли не каждого журнала вы найдете разогретое слово, качественную прозу, поэзию и, главное, новое имя. Вы скажете: сюжеты похожи, мотивы перепеваются, коллизии повторяются и т.д. В литературе XIX века они еще чаще повторялись. Писателям свойственно бить в одну точку, так и сяк пробовать один, зато волнующий мотив... Еще меня радует, что к концу 90-х русская проза, похоже, изжила имморализм начала десятилетия.

— Уж больно радужная картина. Писатель — и не пессимист?

— Относительно собственной судьбы или даже судьбы моей страны я иногда бываю пессимистом, хотя и понимаю: пессимизм — это богохульство. В отношении же будущего русской литературы я пока что несогнутый оптимист.

— Что же вызывает у вас неприятие и тревогу?

— Самодовольное уныние как господствующая в России интонация. Бесконечное повторение фраз, которые сожму в одну: «В наше страшное время, в нашей дикой стране, в нашем возрасте, в нашем городе, в нашем положении нужно же как-то выживать». Еще мне ненавистен пафос невостремленности, увы, свойственный многим представителям свободных — свободных! — профессий. Меня более чем тревожит ксенофобия — она стала знаменем толпы и политикой региональных, прежде всего московских, властей. Кстати, она распространяется не только на кавказцев. Русских, которых притесняют на постсоветском пространстве, кто только не поддержи-

вал со всех трибун, на кого только их не наускивали... Но стоит русскому из Таджикистана, Узбекистана, откуда угодно попытаться вернуться в Россию, он — человек второго сорта, чужой, хлебник. Исключение: русские из Парижа и Нью-Йорка. В моей Москве все иногородние — люди второго сорта. Все это — всероссийский стыд и срам...

— На это у многих есть готовый ответ: во всем интеллигенция виновата. И в унынии, и в ксенофобии, и в том, что жизнь пока не удалась...

— Во всяком случае, интеллигенция одна заявляет о своей вине — там, где вина есть, и даже там, где ее нет. Интеллигенция одна переживает и переосмысливает свою вину. Политики, чиновники — они признают свою вину? В лучшем случае кокетничают, говоря об «ошибках» и «недоработках». Военные — признают свою вину, теряя людей, убивая невинных или терпя поражение? Нет, у них в поражениях политики виноваты, в потерях — младшие командиры, в казарменной уголовщине — семья и школа. Рабочие, крестьяне — признают свою вину? Никогда! Они лишь предъявляют счет всем прочим. Даже церковь — никогда не покается... Интеллигенция — это лучше, что у нас есть. Она вовсе не прекрасна, но — даже будучи скверной — она лучше, что у нас есть.

— Вам возразят: революция — чьих рук дело? Идеи, сеявшие и сеющие вражду, — чьи? «Умников». Стоило этим умникам десять лет назад попасть во власть, сразу выяснилось, что они — неумехи.

— Нищие или Плеханов во власти никогда не были. Власть и деятельная вражда — это удел троечников. Удел образованщины, если вспомнить определение Солженицына. Голова у них пухнет от убеждений, глаза горят, знаний — на тройку. Потом от убеждений не остается ничего, остается лишь странный винегрет

из слов «духовность», «национальные интересы», «беспредел», «западло», «транш», «делиться», «господь», «в натуре» — и это уже не образованщина даже, это уже грамотейщина... Но при чем тут интеллигенция? Ее удел тих. Она не шум создает, не гром, она создает воздух.

— Недавно похоронили Д.С. Лихачева, и во многих газетах написали, что мы закопали совесть.

— Логика газетных клише то и дело ставит меня в тупик. Возможно, газеты имеют в виду активную общественную позицию Лихачева в последние годы, когда она была более всего на виду. Многих, да и меня, порой его социальная активность смущала, даже раздражала. Ну чего, казалось бы, ему то и дело стучаться в двери властей? Выступать с заявлениями по любому поводу? Собирать подписи, чтобы убрали мусор в каком-то там парке?.. Но мы же и сетуем, что в России до сих пор нет гражданского общества. Между тем поведение Лихачева — это и есть поведение гражданского общества. Он являл собою гражданское общество, даже в одиночку.

— По-вашему, беда России — в ослаблении чувства гражданской ответственности?

— Беда в том, что мы не желаем усвоить, быть может, самый важный закон жизни. Это закон несправедливости. Убили миллионы людей, потом реабилитировали — вроде и не убивали. Разрушили, допустим, храм, построили на его месте новый — вроде и не рушили. Стоит, похож, и хорошо. Мы, мне кажется, убеждены: можно рисковать, предпринимать что угодно — потом ведь можно поправить. Непоправимо все. Все дается — и не уследишь, как. Еще ни один джинн не вернулся в бутылку... Утешает, что и добро непоправимо.

— В ваших сочинениях действие происходит в провинции, в придуманных, но узнаваемых северо-западных городках. О



ДМИТРИЙ АСТАСХОВ

Москве вы почти не пишете — лишь упоминаете. Для вас Москва — не настоящая Россия?

— Москва — самая настоящая Россия, ее насыщенный раствор. Москва собрала в себя самую активную часть России. Когда провинциалы злятся на Москву — они злятся на своих, которые пробились, на «выскочек». Когда Москва дискриминирует иногородних — это ревнивое высокомерие пробившегося провинциала. Много ли вы знаете москвичей в третьем поколении?.. Вообще, как только речь заходит о настоящей России, она отчего-то предполагается неведомо где. Москвичи говорят — она там, в провинции. В провинции скажут — она там, в самой отдаленной глубинке. В глубинке скажут — она там, на зимке, в деревеньке, за тем лесом, она где угодно, только не здесь. Мы упрямо отключаем от себя свою страну. Казалось бы: оберегаем миф. На деле: творим пустоту... Я люблю заносчивые слова Томаса Манна: «Где я — там Германия». Скажи любой из нас: «Где я — там Россия. Россия — это я» — и стыдно будет унывать, не на кого будет жаловаться, смешно

будет уповать на заботу властей, еще смешнее — на какую-то национальную идею. «Россия прирастает регионами» — кто чем прирастает? Главное: как? Кто придумал эту ахинею?..

— И вообще — что происходит с русским языком?

— Язык той части населения, которую было принято считать языкотворцами, лексически скукожился до пары-другой сотен слов. Хотя бы и потому, что материальная жизнь за советские десятилетия скукожилась. Язык потеснен новоязом, феней. Нынешним СМИ, политикам и рекламе — отдельное «спасибо». Коммуникативный вакуум заполняет мат, в лучшем случае — крылатые фразы из любимых фильмов. Единственный шанс «великого и могучего» сегодня — это литература. Писатель — не только «часть речи», не только ретранслятор языка. Он еще и донор. Грубее и вернее всего сравнить его с дождевым червем, который, вгрызаясь в сухую и омертвевшую землю, пропускает ее через себя и оставляет за собой взрыхленную, влажную и живую.

Елена МИХАЙЛОВА